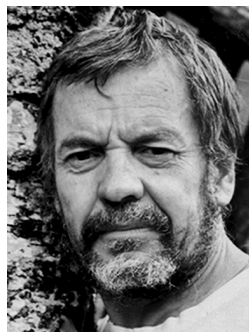




### АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

Писатель

Родился 1950 году в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского государственного университета работал в сельских и областных газетах Восточной Сибири. Преподавал в Иркутском государственном университете на факультете филологии и журналистики, возглавлял издательство «Иркутский писатель», работал главным редактором альманаха народов Восточной Сибири «Созвездие дружбы». В настоящее время — исполнительный редактор альманаха «Иркутский Кремль». Романы, повести, рассказы, художественно-публицистические и научно-популярные очерки печатались в московских и сибирских изданиях, а также в Чехословакии, Германии, Франции. Лауреат нескольких Всероссийских литературных конкурсов.



## ОЧАРОВАННАЯ ЯВЬ, ИЛИ ПОДЛЁДНЫЙ ЛОВ ХАРИУСА НА БАЙКАЛЕ

*Памяти брата Александра Байбородина*

Сколь уж зим пустомельных блажил я о подлёдном лове хариуса на Байкале, но отупляющая, опустошающая душу житейская колготня, пропади она пропадом, мёртвой хваткой держала в своих цепких когтях. Буреломом городились поперёк рыбалки бесчисленные дела-делишки, коим не виделось ни конца ни края. Но однажды Ефим Карнаков всё же сомустил меня на зимнюю байкальскую рыбалку, и почти силком вырвал из клятой житейской суеты.

Выросший в забайкальской лесостепи, на берегу тихого озера, я, словно Божии небеса, не вмещал в лесостепную глухоманную душу величавое море, а не вмещая, не сроднился с морем-озером и не смог запечатлеть в слове. А худо-бедно лет десять отжил в таёжном распадке, неподалёку от байкальского берега, и, случалось, любовался байкальской лазурью в тени скал, напоминающих гигантских ящеров, миллионы лет назад окаменевших на берегу Байкала и растревоженных пагубной человеческой суетой, и вдруг оживших, и утробно взывших, запрокинув звериные головы.

Видел я Байкал седой и грозный, когда, словно дикие свирепые кони, летят ярые валы и, вздыбившись у скалистых берегов, взмётывают к небесам белые гривы. Помнится, в эдакий шторм маялся я на старом «Комсомолец» — доживающим долгий век байкальском теплоходе, — который то вскидывался к низким грозовым тучам, то падал с крутой волны в бурлящую бездну... Наладился обудёнкой в журналистскую командировку из районного села Нижнеангарск в рыбацье селение Байкальское, а лишь на третий день «Комсомолец» только чудом причалил в усть-баргузинском порту. Помнится, сидел на берегу притихшего моря... белый туман клубился над морской гладью и уплывал в синее небо... сидел я на ошкуренном сосновом кряже, вяло жевал печенье, купленное на последние командировочные гроши, подкармливал сивобородого прибрежного козла, который сочувственно кивал головой, слушая мои жалобы. Словно древний козёл и присоветовал: поплёлся я, оголодавший, в усть-баргузинский сельсовет просить Христа ради копейки, чтобы на «аннушке» перелететь из Усть-Баргузина в Нижнеангарск.

Хотя и не сроднился я с Байкалом, а манило к морю-озеру, вот почему, плюнув с высокой колокольни на бесконечные и неотложные заботы-хлопоты, я и рванул с Ефимом Карнаком на подлёдную байкальскую рыбалку, словно с пылу с жару нырнул в студёную морскую воду, и сладостно защемила, потом вольно отпахнулась душа, истомлённая городским зноем.

И вот уже позади усталая земля, впереди мартовский Байкал.

То ли сон, то ли очарованная явь: неземное безмолвие; ледяная степь в снежном покрове, широко и вольно утекающая в блаженно синее, вешнее небо; искристая бледность сумётов на солнопёке, от которых ломит глаза и вышибает слезу; странные и бесплотные видения среди миража; приманчиво зеленеющий на облысках нагой лёд, выскобленный ветром, и торосы, бескрайними, вздыбленными грядами раскроившие озеро вдоль и поперёк.

Баюкая, навевая ямщичью дрёму и сладостную грусть, от темна до темна маячила перед нашими глазами ледяная степь. И так три дня, пока мы через Малое море, заночевав на острове Ольхон, потом — на мысу Покойников, где ловили бормаш — приваду и прикормку для хариуса, скреблись к Ушканчикам. Ушканчики... Так умилённо величают на Байкале северные островки, где, баяли рыбаки, водилась уйма зайцев, ушканчиков по-здешнему.

То наши две легковушки, вспоров шинами закрепший наст, вязли в пушистых сумётах, то нам приходилось — словно озерный хозяйнушко кружил — загигать многовёрстные крюки, объезжая щели, дышащие

тёмно-зелёной, потайной водой; щели встречались узенькие, какие мы проскакивали махом, и пошире, которые нужно было огибать. Через одну из них, так и не доехав до её конца или начала, нам пришлось прыгать.

Хозяева машин, высадив нас, рыбаков-попутчиков, и, может быть, про себя крестным знамением заслонив свою жизнь от напасти, изготовились к прыжку; и если одна машина, где посиживал за рулём удалой парень, легко перемахнула щель, то другая, где правил пожилой, степенный мужичок, грохнулась задним мостом на край полыньи, зависла над пучиной и лишь потом ...мы стояли бледные... с натужным ноем, испуганным стоном выползла на лёд. Мужичок ...Гаврилычем звать... выпал из машины огрузлым кулём, белый как снег, и долго стоял, томительно приходил в себя, пугливо косясь на щель, которая, блазнилось, ширилась на глазах, манила к себе, и в ней с хрустом и тоненьким, льдистым перезвоном поплёскивалась растревоженная пучина.

— Не-е, мужики, видал я такую рыбалку в гробу в белых тапках! — Гаврилыч матюгнулся и тряхнул головой, словно от озноба.

Ефим Карнаков — или просто Карнак — по-забайкальски прищуристый, забуревший на озёрных ветрах скуластым лицом, жалостливо спросил:

— Ну чо, Гаврилыч, в штанах-то сухо?

— Тьфу на тебя!.. — старик осерчало сплюнул через левое плечо, чтоб угодить в нечистую силу, и, кряхтя, полез в машину.

Подмигнувши нам, сунулся туда и Карнак и, лёгкий на слово, безунывный, потом всю дорогу потешал нас, посмеивался над Гаврилычем, разгоняя дорожную скуку.

\* \* \*

Потом мы вздыхали о нелёгкой доле нынешнего рыбака. Всё маятней и маятней даётся любителю-удильщику даже некорыстная рыбалчишка: всё меньше остаётся укромных, уловистых, диких вод, про какие Карнак хвастал: дескать, край непуганых рыб и бичей; да и сама рыбка — особенно речная, да вот ещё байкальская, — чтобы выжить, стала шибко хитрой, не в пример досельной, неразборчивой, прожорливой, готовой клевать и на голый крючок.

— Откуль же рыбе-то путней быть, раз вы угробили природу?! — укорил нас Гаврилыч.

Карнак огрызнулся:

— А ты, Гаврилыч, что, в космосе ошивался... Гляди-ка, мы природу гробили, а он бороздил воздушный океан...

— Не жалеете свою землю, нехристи поганые, — ворчал Гаврилыч, тискающая руль, настороженно высматривая едва набитую среди сумётов колею, иссечённую морщинами.

— Да, нету теперь ранешней рыбы — кипели речки... — загрустил было Карнак, но тут же и повеселел, припомнив или уж на ходу сочинив байку завиральную. — И ведь до чего дикая была... Помню, шатался я, паря, на Северном Байкале... Груза сопровождал. Там как раз БАМ зашевелился... И вот прилетел из Нижнеангарска в Уоян. А с Уояна махнул ещё вёрст за тридцать в тайгу, в край непуганых рыб и бичей. От, паря, где рыбалка-то была!.. Там бригада мост через речку ладила, ну, я к ним и припарился. А дело вышло по весне — багульник на сопках зацвёл, проталины на речке... Ну, приехал, паря. Гляжу я, это, а у мужиков прямо на бельевой верёвке ленки да харюзя вялятся. От, думаю, дурья моя голова, а!.. Не смикитил удочки взять... Ну чо, паря, делать, давай у мужиков шукать. Дали мне уду, а крючок голый.

«Ловко — говорю. — Уж и на голый крючок берёт...».

«На советский...» — отвечают.

«Какой ишо советский?...» — спрашиваю.

«А такой... Вон от флага лафтаки отдирам, наматывам, и вроде клюёт...».

А я и то, паря, диву дался — висит над вагончиком флаг, не флаг — рваная тряпка, мочало. Смехом ещё спросил:

«Какая тут власть, мужики?...» — и на флаг кажу.

«Закон — тайга, — говорят, — медведь — прокурор».

«Ну, тогда ладно, мы к медвежьей власти привычные. Верная власть...».

Но чо делать?... «Прости, — говорю, — родная партия и советская власть — нужда прижала...». Да и клочок оторвал от красного флага... И веришь, Гаврилыч, намотал красну тряпицу на крючок, и тока, это, в проталину уду бросил, — ленок из-под льда ка-ак даст!.. Едва жилку не порвал. На три кила потянул... И мигом я, паря, с полкуля накидал. А ленки-то, ленки-то, Гаврилыч, во!.. — Карнак на полный отмах раскинул руки. — Тебе такие не снились... Поклонился я красному флагу и кормилице нашей советской власти...

— Мели-и, Емеля, твоя неделя, — отмахнулся Гаврилыч. — Язык-то без костей. Вот таких, как ты, Ефим, и зовут — холодные рыбаки. Которые на языке ловить мастера. Сядут за стол, винища надуются и таких ловят

харюзей, что диву даешься. А как до дела, удочку-то не знают за какой конец брать...

— Ничо-о, Гаврилыч, будем посмотреть, кто кого переудит. У меня нынче такие мушки — твоим-то и делать нечего возле моих... Таковую закуску сгоношил — сам бы в охотку слопал... До третьих петухов шаманил с этими мушками — куколки вышли, любо-дорого поглядеть, а того дорожке заглотить... Но ниче-о, два, три пуда всяко разню добуду...

Гаврилыч снисходительно покосился на хвастливого Карнака:

— Кулей-то мало взял... враньё собирать.

Карнак засмеялся:

— И вот, Гаврилыч, до чего же на Уояне рыба дикая жила — как бык, на красну тряпку кйдалась... А теперичи и не знаешь, какую нитку ей, холере, намотать... У меня братан... тоже рыбак заядлый... Так у него этих ниток — вагон и маленька тележка. А ему всё мало. Как-то с им в очереди стояли за эфтим делом, — Карнак лихо щёлкнул себя в кадык, — вижу, братан мой к девахе вяжется. Хотя и женатый, паразит... А парень из себя бравый, кудрявый. Деваха-то и разомлела, глазками постреливат. А братан ей: мол, девушка, можно вас попросить?... Девка лыбится, как сайка на прилавке, глазками поигрывают: дескать, можно, если осторожно.

«Тут, значит, такое дело... — братан ей толмачит. — Короче, можно я у вас из шарфа пару ниток выдерну?... Я, мол, рыбак, мне бы такую нитку на крючок намотать. Мушку замастрячить... на харюзей...».

Но тут, паря, девица аж взвилась:

«Ты, — говорит, — не рыбак, а чудак...».

А братан ей:

«Ишь, какие мы нервные... Ну, ежели хочешь, можем и выпить, посидеть... Но сперва бы ниточку из вашего шарфа...».

Деваха фыркнула: дескать, пошёл-ка ты!.. козёл душной.

Крепко обиделась, бедная... Так вот, в добром шарфе, либо в путнем свитере лучше к братану не ходи — мигом нитки повьдёргиват...

Слушал я Карнака и тянул свою вялую обиженную думу: да-а, теперь, когда речки поугробили где вырубками в устьях, где сплавом, где пахотой, когда рыбы осталось с гулькин нос, это же художником надо быть... народным, чтоб обмануть омуля либо того же хариуса. Это же надо со всякими оттенками, в четыре нитки намотать мушку, потом расчесать гребешком, распустить, да так приглядисто, так вкусно её сгоношить, что, вроде, и сам бы клюнул за милу душу... А так и выходит: хоть сам и потчуйся таким гостинцем вместо хариуса.



На Большом Ушканьем острове жил о ту пору мой товарищ — за по-годой присматривал, чтоб не шалила, а по весне нерпу промышлял, — был он и добрым знакомцем Карнака, потому мы и дунули на заячьи острова. Перед рыбалкой мы с приятелем до третьих петухов колдовали над мушками, и вышли они, чисто куколки, любо дорого поглядеть, а того дороже заглотить. Ан нет, не тут-то было.

— Ишь небо-то вызвездило, прижмёт завтра мороз, — упредил Карнак, придя со двора. — Поморозим сопли на льду. А ежели хиуз или сиверко\* задует, дак и вовсе проберёт до костей. Овчинная доха не спасёт...

— Ничо-о, дело привышное, — махнул рукой Гаврилыч. — Лишь бы рыба тянула, лишь бы фарт гузном не повернулся.

— Будет тому фарт, кто с бабой перед рыбалкой не грешил, — улыбнулся Карнак. — А ты, Гаврилыч, опять не удержался, баушку к печке прижал...

— Тьфу на тебя, ботало коровье, — привычно и беззлобно сплюнул Гаврилыч и пошёл укладываться спать возле печи.

Выехали ни свет ни заря; перебрались с Ушканчиков под самый коренной берег, задолбились в торосах, кинули по жмене бормаша в лунки, и пошли тут мои напарники тягать хариусов — благо, и глубь с локоть, — а у меня молчок, хоть рёвушком реви. Уж и совал хариусам под самый нос мушку, когда ложился среди замерших ледяных заломов, когда и азартно, до забвения, до сонного беспамьяства, разглядывал, как, темнея спинами, бродят взад-вперёд степенные хариусы — чудилось, опусти руку в лунку и хватай их за жабры; потом и бормаша вывалил им с три короба, и мушкой поигрывал и так, и эдак — всё впустую, даже и глазом не ведут. Правда, один здоровенный такой, которому я назойливо совал мушку, даже на спину ложил, которому я вслух жадно и моляще шептал: дескать, клюнь, милоч, клюнь, чего тебе стоит, а мне радость, — вот этот хариус прищурился, взгляделся в мою мушку, пошамкал беленьким ртом, усмехнулся вроде: мол, поищи дурака в другом озере, — да как саданёт мушку своим матёрым хвостом, та аж прилипла ко льду, а я с перепугу даже шатнулся от лунки. «От варначё, едрит твою налево!..» — матюгнулся я в сердцах, потому что злая меня охватила досада.

Побранил я варнака, побранил да и махнул рукой на холодную рыбалку, пошёл считать ворон, что слетали с безмолвно чернеющих прибрежных

\* Хиуз, сиверко — студёный ветер; северный ветер.

листвяков и, оглашенно каркая, вились над лунками Гаврилыча, где заколодевшие, припорошенные снегом, топорщились хариусы, будя во мне лютую зависть.

Обленившись, перестал я расчищать свою лунку, затянутую снежным куржаком, и лунка подёрнулась тоненьким ледком. А жилка, замороженная, вся в катышах, торчала кривой проволокой; и не верилось в чудо чудное, что она может вдруг пружинисто натянуться и заиграть над клюнувшим хариусом. Пробегая мимо меня к машине, Карнак сочувственно спросил:

— Ну, как, паря, рыбка плавает по дну, хрен поймашь хоть одну?

Видимо, я слишком мрачно, обиженно глянул на него, потому что Карнак стал утешать меня:

— Ничо-о, терпи, казак... вернее, рыбак. Терпи... Жди... Жди, жди — рыба должна подойти.

И уметелил. А мне ничего не оставалось, как, одолев гордыню, брести на поклон к Гаврилычу — тот удил неподалёку — и просить его из милости, чтоб показал свою мушку. Гаврилыч, уже подхваченный суетливым, тряским азартом, быстро сунул мушку к самым моим глазам, и не успел я толком разглядеть, как тут же и кинул её в лунку.

Эдак тянулось до обеда, и я, не добыв и захудалого хвоста, сидел возле лунки туча тучей. А когда собрались чаевать, Гаврилыч с едва утаённым самодовольством важно поучал меня — сжалился, сердечный:

— Надо, Анатолий, такую мушку накрутить, чтоб на бормаш личила, и чтоб красивше бормаша была, и тогда... и тогда же, холера, брать не будет, тово-ново бы ей на лопате.

Доступно растолмачил, и всё стало ясно — надо хариусам тово-ново на лопате...

— А вот я, мужики, на Тихом океане удил, — припомнил Карнак.

— И кита заудил, — улыбнулся молоденький паренёк, хозяин легковушки, по фамилии Кот.

— Зачем кита?! Тоже на подлёдном лове, в Амурском заливе... У меня брательник во Владике живёт, тоже рыбак добрый, вот он меня и вытащил на рыбалку. А я перед тем брательника спрашиваю: дескать, как на Тихом океане-то рыбачат?.. На что ловят: на мушку, на бормаш, а может, на блёсенку?.. «Да-а... — рукой машет, — у нас на Тихом океане рыбачат точь-в-точь, как у вас на Байкале: приезжаешь, открываешь, наливаешь... можно чокнуться».

Кот, услышав про «открываешь, наливаешь», тут же азартно потёр руки:

— Что-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть?

Карнак, выпить не дурак — мастак, неожиданно поморщился:

— Сам не буду и вам не советую. Лучше чаю горячего.

— Верно, по рюмочке чайку... за рыбацкий фарт.

— Вы как хотите, а я не пью...

— За уши лью...

— Почему? Выпить можно, ежели осторожно. А на рыбалке я не пью, извини уж, да-ра-гой... Рыбалка... Тут уж, паря, выбирай: либо рыбу ищи, либо водку глуши. Так от... А водку пьянствовать можно и в городе, ежели в кармане бреньчит... ежели денга ляжку жжёт. Охота на природе, махнул на дачу, под малину залез и поливай её, родимую... пока не сдохнешь... А на рыбалке же как? Выпьешь, потом ходишь, как чума огородная — не рыбалка уже, а... Хорошая рыбалка, паря, она ить покрепче водки и послаще бабы...

— Так уж и послаще... — игриво повёл плечами Кот.

— Послаще... Не даром о рыбаках поют: кто женой не дорожит, тот над луночкой дрожит...

\* \* \*

Напившись горячего чая из термоса, сменил я мушку по совету Гаврилыча и уже веселее потопал к своим лункам, чтобы, если и не удить, то хотя бы зариться на этих зажавшихся поросей, когда они, набежав, быстро склёвывали бормашей, которыми я щедро, словно на откорм, потчевал их.

Гаврилыч же ворон не считал и не дивился на хариусов; что-то подшаманивал со своими удами, да всё подёргивал, потаскивал рыбу, расхаживая промеж добычливых лунок. Я же, горемычный, чтобы вновь не запалить в себе обиду до слёз, старался лишний раз не глядеть в его сторону, хотя всей озябшей на хиузе спиной остро и отчётливо чувял, как вымётывал старик очередного хариуса.

Я, кажется, призабылся и плыл сквозь ласковую тёплую дрему; вспоминалась летняя рыбалка на родных Еравнинских озёрах, потом — моя маленькая дочь, по которой я скучал, даже если расставался на день; потом в дремотном воображении стал нарождаться рассказ об этой рыбалке... и вот тут услышал истошный, матерный крик Гаврилыча...

Верно баят добрые люди, что и на старуху бывает проруха: пока Гаврилыч удил возле меня, с крайней лунки вороны украли чуть ли не с десятков рыбин и перетаскали к себе в прибрежный лес. Одна ворона как



раз и греблась к чернеющим листьям, держа в клюве хариуса, который взблёскивал на ярком, но холодном солнце.

Матерьясь на чём свет стоит, размахивая медным сачком, каким вычерпывают ледяное крошево из лунок, потрусил наш старик оборонять оставшихся хариусов; и долго потом клял ворон и весь их варначий род до десятого колена и суетливо пихал оставшуюся рыбу в крапивный куль. А варначьи птицы, как он их в сердцах окрестил, всё кружили и кружили над его бедовой головой или похаживали рядом, подсказывали, будто носимые ветром, да, кося лукавыми цыганскими глазами, каркали. Сначала, — благодарно:

— Кар-р-р, Гавр-р-рилыч, благодар-р-рствуем!..

Потом — властно и настырно:

— Кар-р-р, кар-р-р, Гавр-р-рилыч, Гавр-р-рилыч р-р-рыбы, р-р-рыбы!..

Что уж греха таить, тут я повеселел, даже оттепился, глядя на Гаврилыча, который ругался с воронами и казал им то кулак, то яростный кукиш, потому что ворьё изловчилось и с другой лунки упёрло пару рыбин. Наконец, Гаврилыч устал лаяться, пристыдил ворон и даже пушнул в них снежным комом, но чёрные птицы, словно дворовые куры, просящие зерна, ходили за ним по пятам, провожая от лунки к лунке.

\* \* \*

Ловили Гаврилыч с Карнаком, ревниво косясь друг на друга — кто кого переудит; а мы с Котом зарились на фартовых рыбаков, томили душу. Приятель мой, житель Ушканьих островов, с которым мы крутили беспроклые мушки, поудил с утра и, плюнув в лунку, уехал домой на мотоцикле. Кот начал злиться, и тогда Карнак сунул ему свою самую, как он побожился, рабочую мушку и посадил на самую рабочую лунку; и пошёл тот тягать хариусов, пока не оборвал крючок после резкой, заполошной подсечки. Карнак побурчал, но оторвал от сердца ещё одну мушку — тоже вроде ходовую. Вообще, у рыбаков такое в заводе, чтобы каждый сам беспокоился о своих удах, и у редкого можно выманить ту же мушку прямо на рыбалке. И не жадность тут вроде, а рыбацье суеверие — и суеверие давнишнее.

Я каким-то дивом всё же выдернул пару хариусов-задохликов, и как отрезало — видимо, только и плавали в Байкале две дурные рыбёшки, сдуру и сослепу клюнувшие на мою уду. Верно рыбаки посмеиваются над собой: дескать, на одном конце червяк, на другом — дурак..

Дурак... И тут неожиданно и живо увидел я на одной из лунок взъерошенного волка, опустившего хвост в воду и, довольно хвастливо озираясь, ждущего поклёвки. Затосковавший от безрыбья, озябший, волк был так похож на меня. Потом я увидел, как его — или меня?.. — замороженного, хлещут бабы коромыслами, как он — или опять же я?.. — лишившись хвоста, с обиженным воем трусит по заснеженному льду, и одна лишь дума распирает его жаркий череп: ну, лиса, етит твою налево, доберусь я до тебя, выделаю шкуру... А уж после привиделось, как по-над берегом плетётся кляча, седая, в снежном куржаке, запряжённая в сани, и лиса за спиною дремлющего старика Гаврилыча выкидывает рыбёху на просёлок...

Я уже отупел от такой скудной рыбалки, перестал ощущать себя среди синеватого снежного безмолвия — кто я и где я?.. — и, положив про себя на музыку, распевал на все лады, уже и не чуя и не слыша песни:

Кто женой не дорожит,  
Тот над луночкой дрожит...

Вот и жена помянулась тёплым, редким словом: эх, думаю, какой лукавый понёс меня на зимнюю рыбалку за сотни вёрст, чтобы сопли здесь морозить; посиживал бы сейчас возле жены, попивал чаёк...

От скуки решил я сходить в береговой лес, глянуть в заметённую снегом зимовейку, какую чудом высмотрел под кривыми листвяками; и когда я проходил мимо Карнака, тот вдруг замахал рукой, подманивая к себе.

— Ты глянь, паря, чо деется на белом свете! — удивлённо пуча глаза, заговорил он и показал мне мушку. — Дал её Коту, Кот её сдуру оборвал, а счас вытаскиваю хариуса, гляжу — мать тя за ногу! — у него две мушки торчат из пасти. Моя и та, какую дал Коту. От ловко, дак ловко... Всю жизнь рыбачу, но такого... Ежели губу поранишь, рыба потом близко к удам не подходит. А тут прямо с оборванной мушкой — крючок аж в губу впился — и другую мушку хватать. А я её сразу узнал — она у меня самая рабочая...

И то ли я шибко жалобно глядел на фартовую мушку, то ли сам Карнак от удивления расщедрился, но только всучил он мне эту пёструю обманку: дескать, на, лови, парень, нам не жалко. Схватил я добычливую мушку тряскими руками и бегом до своих лунок.

Не видать бы мне рыбьих хвостов, как своих ушей, вернуться на Ушканчики с полыми руками, если бы не эта мушка, — спасибо Карнаку, — на которую я успел до потёмков выудить десятка полтора добрых хариусов.

\* \* \*

А уж мягкие, исподвольные сумерки распушились и вызрели в чернолесье среди худородных, печальных листвяков и кручёных берёз, редко и коряво торчащих среди топкого снега; вечерняя тень с рысёй вкрадчивостью сползла с крутого яра в ледяные торосы, где ещё плавал рассеянный закатный свет, и будто пеплом стал укрываться засиневший напоследок снежный кров. Тишь была полная, неземная...

Мы ещё постояли возле машин, прощаясь с гаснущим днём, поминая его добрым словом, кланяясь озеру. Карнак вздохнул, как бы освобождаясь от рыбацкого азарта, и сказал:

— Ну, слава Богу, поймали маленько, и на том спасибо, Господи. И дай Бог, чтоб завтра клевало.

Набело смывается в памяти случайное, будто слёзной байкальской водицей, и от зимней той рыбалки мало что запомнилось, но осело навечно ощущение полного, голубоватого, снежного покоя и безмолвия, когда наши утихомиранные, полегчавшие и осветлённые души парили в синеве вешней и дремотно нежились над спящим озером.